



ПРОРОЧЕСТВО БЫЛИМ: РЕНЕССАНСНЫЙ УНИВЕРСАЛИЗМ А.И. ГЕРЦЕНА

Владимир Соловьев

Социологический институт РАН,
Москва

Статья посвящена исследованию философии культуры А.И. Герцена – мыслителя, актуальность творческого наследия которого соизмерима с поразительной точностью его пророчеств, высказанных в «Былом и думах». Твердость мировоззренческих убеждений Герцена уживалась в нем с гибкостью ума, в результате чего приверженность к установкам западников не препятствовала ему принимать рациональную и глубоко патриотическую составляющую учения славянофилов. Широта интеллектуального кругозора Герцена органично сочетается с диалектической остротой восприятия им актуальных идей, настолько уравновешена рефлексией и скептицизмом, что исключает абсолютизм, догматизм и ортодоксальность умопостроений и суждений. Высоко ставя в своей картине мира человека, подчеркивая безусловный приоритет свободы и прав личности, Герцен постоянно поверял разногласия, коллизии и диссонансы общества гармонией и совершенством природы. Отдельное внимание в статье уделено рассмотрению нравственно-этических и эстетических аспектов творчества русского мыслителя, в частности его воззрений на литературу и искусство. Подчеркивается, что эстетический элемент был присущ умственному складу Герцена в той же мере, в какой он вносил философию в свою эстетику, публицистику и литературное творчество. Делается вывод, что дискурсивность герценовского наследия, сопряженная с высокохудожественным языком его философских произведений, представляет собой не просто интереснейший и яркий памятник русской словесности, но и личностно окрашенный, уникальный способ мышления, говорения, почерк жизни, т.е. является бесценным культурологическим источником эпохи.

Ключевые слова: А.И. Герцен, русская философия, гуманизм, свобода мыслительного самовыражения, творчество.

The article draws attention to the cultural philosophy of A.I. Herzen, a thinker whose legacy is resonant with the astonishing accuracy of his prophecies in *My Past and Thoughts*. It is shown that Herzen's firm ideological convictions were matched by a flexible mind, so that his adherence to Westernizers' teachings did not prevent him from embracing the rational and deeply patriotic elements of Slavophile thought. The author stresses that Herzen's broad intellectual horizons were harmoniously combined with his dialectical grasp of contemporary ideas, so balanced by reflection and skepticism that they precluded absolutism, dogmatism, and orthodoxy in his thinking and judgment. It is argued that the specificity of Herzen's philosophical position lies in the fact that, on the one hand, he placed a high value on man in his picture of the world, emphasizing the unconditional priority of freedom and individual rights, and on the other hand, he turned to the study of nature, arguing the thesis that its inherent harmony and perfection can serve as a guide for social development and the solution of various problems. The article devotes special attention to the moral, ethical, and aesthetic aspects of the Russian thinker's work, particularly his views on literature and art. It emphasizes that the aesthetic element was inherent in Herzen's mental makeup to the same extent that he incorporated philosophy into his aesthetics, journalism, and literary work. It is concluded that the discursive nature of Herzen's legacy, coupled with the highly artistic language of his philosophical works, represents not only a fascinating monument to Russian literature but also a personally charged, unique way of thinking and speaking, a signature of life – in other words, an invaluable cultural source of the era.

Keywords: A.I. Herzen, Russian philosophy, humanism, freedom of mental expression, creativity.

Однажды на лекции несколько велеречивый академик Б.А. Рыбаков под впечатлением свежей защиты какой-то докторской сказал нам, желторотым студентам: «Герцен, бесспорно, был великий и многогранный человек, но двести одиннадцатая диссертация, ему посвященная, – это уже перебор. Столько граней у него не было».

– Конечно, не было, – выдал я по-театральному реплику в сторону. – Он ведь был не граненый стакан, а драгоценный кристалл.

Борис Александрович глухотой не страдал, мои слова расслышал и, задумавшись на пару секунд, отвечал:

– Что ж, молодой человек, может, вы и правы. Хорошо, что учитесь широко мыслить.

Сейчас, спустя много лет, автору предлагаемого очерка о Герцене, если честно, совершенно непонятно, как тогда ему, первокурснику, вдруг открылась интеллектуальная безмерность знаменитого русского мыслителя. Скорее всего, это было интуитивное озарение.

Сегодняшняя герцениана историографически простирается впечатляюще широко и далеко, охватывает внушительный спектр тем и проблем, и даже предельно сжатый перечень связанных с ней имен и работ говорит сам за себя [1–19].

На склоне дней Александр Иванович Герцен (1812–1870) осознает, как много значило для него творческое, философское и политическое становление в юношеские годы, когда контурно наметилась дальнейшая перспектива биографии. Он завыченно называет этот короткий период «ребячеством» и в то же время самой полной, самой изящной и чуть ли не самой важной частью жизни, ибо «она незаметно определяет все будущее» [20, с. 53]. С высоты прожитого человек перестает чего-то ждать впереди, свысока оценивать прошедшее и превратно понимать настоящее, ибо, «когда он догадывается, что жизнь, собственно, прошла, а осталось ее продолжение, тогда он иначе возвращается к светлым, к теплым, к прекрасным воспоминаниям первой молодости» [20, с. 53].

«Есть истины, – пишет Герцен, – которые, как политические права, не передаются раньше известного возраста» [20, с. 90]. Отсюда снисходительность к восторженному лепету юности, к ограниченным, порой черствым до бесчеловечности оптовым суждениям той поры, что, впрочем, не исключает уже тогда тревожное озиранье души *зачавшей* и предчувствие философии откровения.

Герцен не вырывал человека из природы, он в разумности природного устройства видел некий позитивный залог и оптимум и не то, что обожествлял природу, но отчасти был даже гораздо большим пантеистом, чем Н.А. Некрасов, строка которого «Нет безобразья в природе» манифестно передает совершенство нерукотворного мира и контрастно оттеняет уродство человеческого общества.

«Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами, – заключает Герцен. – Одна природа делает великое даром» [20, с. 227].

«Учись у них – у дуба, у березы», – взывал Афанасий Фет, и такое природолюбие было близко и Герцену. Он готов был пить жизнь полной чашей и сам наставлял следовать его примеру и предостерегал от непоправимой ошибки им пренебречь: «Мы обыкновенно думаем о зав-

трашнем дне, о будущем годе в то время, как надобно обеими руками уцепиться за чашу, налитую через край, которую протягивает сама жизнь непрошенная, с обычной щедростью своей, – и пить, пока чаша не перешла в другие руки. Природа долго потчевать и предлагать не любит» [20, с. 305]. Пантеистические гимны Герцена в одинаковой мере навеяны и наслаждением от созерцания волн морских, плясок дев испанских, песен Шуберта и запаха индейки с трюфелями, но более всего его завораживает слитность с природой родного русского языка, замечательного своей демократической глубиной и особой восприимчивостью, приравнивающей запах к звуку. Однако это гедонистическое удовольствие омрачало то, что, вдыхая воздух России, чуткий и мыслящий человек не мог не почувствовать токсичную примесь: «крепко пахнет застенком и казармами!» [20, с. 423].

В социальном моделировании Герцена были и теоретический, и нравственно-этический запросы, чтобы в созданных людьми институтах, как в истории, религии, культуре, цивилизации в целом, тоже все было уравновешено. Между тем, в них при дефиците поступательности и телеологичности слишком много анти- отрицательности, дисгармонии. Не дилетант в познании, Герцен после философских метаний постепенно осознает практическое бессилие построить человеческий мир в мир природный так, чтобы первый не диссонировал со вторым. Ему становится очевидным, что в общественных науках креативный человеческий ресурс тысячекратно ограниченнее и на порядок меньше, чем в науках естественных. Европейские революции, которые он наблюдал, открыли ему, к каким страшным потрясениям, кровавым катаклизмам и катастрофическим последствиям могут привести подобные эксперименты в России. Фактически, он не столько как философ, сколько как художник восчувствовал и прозрел реальность экстремизма и насилия как нормы, понимая, что опыты на человеческом материале неминуемо и неотвратимо примут отнюдь не лабораторный масштаб. В хорошо ему знакомом С.Г. Нечаеве Герцен различил прообраз будущего большевика, готового фанатично идти к цели, прибегая к любым и в первую очередь к самым крайним средствам, т.е. по трупам. Сам Герцен в глазах автора «Катехизиса революционера» был всего лишь барствующим революционным бездельником, который учится революционному делу по книгам.

Герцен, безусловно, был книжным человеком, но его воззрения в первую очередь формировались из поистине неисчерпаемого запаса непосредственных жизненных впечатлений и наблюдений. Редкий дар их обобщить, типологизировать, извлечь из каждого яркого момента или образа пищу для ума превращает автора «Былого и дум» из незаурядного мемуариста в истинного мудреца, наделенного способностью проникнуть в суть вещей, явлений, характеров, безошибочно распознавать и подмечать в людях великое и смешное, благородное и низкое, искреннее и фальшивое. Он был настоящим профайлером – экспертом по выявлению лжи на основе внешней реакции, манеры речи, мимики, жестов человека, состава произносимых им слов, оттенков интонации. Прекрасно давался ему и групповой психологический портрет. Так, он гротескно выпукло изображает неизбежную и извечную, как несводимое клеймо, тол-

пу плутов, казнокрадов, мздоимцев, «людей, принимающих Россию за аферу, службу – за выгодную сделку, место – за счастливый случай нажиться» [20, с. 228].

Литературная свобода как доминанта изложения содружествовала в Герцене с еще большей свободой мыслительного самовыражения. Он не держался за формальную композицию, не боялся ее нарушить, если находил, что стремление придать повествованию плановость, стройность и причесанность нарушает цельность самой жизни, которая вовсе не единый монолит, а мозаична, пестра, соткана из эпизодов, отдельных фрагментов, отступлений, ответвлений. Единство жизненного процесса, по Герцену, подобно огромному зданию, которое наряду с видимой основной частью с парадным фасадом членится на множество флигелей, надстроек, пристроек.

Насыщенный элегической лирикой этюд, посвященный не воплощенному в жизнь величественному творению Александра Витберга на Воробьевых горах, подчеркивает всю кичливость дважды реализованного проекта Константина Тона, потравившего своим храмом Христа Спасителя и русофильствующему Николаю I, и мецанско-гламурному вкусу патриотически настроенного третьего сословия. Заодно Герцен невольно наводит на ассоциацию с другим несбывшимся архитектурным исполнением – Дворцом Советов Бориса Иоафана. И как тут не задуматься над герценовским замечанием, что «нет ни одного искусства, которое было бы роднее мистицизму, чем зодчество» [20, с. 225]?

Широкий кругозор, эрудиция, образное восприятие мира – несомненные составляющие универсальной ренессансности Герцена. Так, рассуждая об архитектуре, он дает настоящий культурологический и искусствоведческий мастер-класс, и это равным образом относится к другим сферам его разносторонних интересов, будь то литература, музыка, философия, социология, экономика, политика, математика, физика. Вот характерная зарисовка, дающая представление о диапазоне и глубине герценовских раздумий на примере зодчества, которое, при всей его отвлеченности, геометричности, немомузыкальном бесстрастии, живет «символикой, образом, намеком. Простые линии, их гармоническое сочетание, ритм, числовые отношения представляют нечто таинственное и с тем вместе неполное. Здание, храм не заключают сами в себе своей цели, как статуя или картина, поэма или симфония; здание ищет обитателя, это – очерченное, расчищенное место, это – обстановка, броня черепахи, раковина моллюска, именно в том-то и дело, чтоб содержащее так соответствовало духу, цели, жильцу, как панцирь черепахе. В стенах храма, в его сводах и колоннах, в его портале и фасаде, в его фундаменте и куполе должно быть отпечатлено божество, обитающее в нем, так, как извивы мозга отпечатлеваются на костяном черепе» [20, с. 225].

Последующая конкретизация вносит уточняющие штрихи в сказанное выше: «Египетские храмы были их священные книги. Обелиски – проповеди на большой дороге. Соломонов храм – построенная библия, так, как храм святого Петра – построенный выход из католицизма, начало светского мира, начало расстрижения рода человеческого. Самое построение храмов было всегда так полно мистических обрядов, иноска-

заний, таинственных посвящений, что средневековые строители считали себя чем-то особенным, каким-то духовенством, преемниками строителей Соломонова храма и составляли между собой тайные артели каменщиков, перешедшие впоследствии в масонство. Собственно мистический характер зодчество теряет с веками Восстановления¹. Христианская вера борется с философским сомнением, готическая стрелка – с греческим фронтоном, духовная святость – с светской красотой. Поэтому-то храм св. Петра и имеет такое высокое значение: в его колоссальных размерах христианство рвется в жизнь, церковь становится языческой, и Буонаротти рисует на стене Сикстинской капеллы Иисуса Христа широкоплечим атлетом, Геркулесом в цвете лет и силы. После храма св. Петра зодчество церквей совсем пало и свелось, наконец, на простое повторение в разных размерах то древних греческих *периптеров*, то церкви св. Петра. Один Парфенон назвали церковью св. Магдалины в Париже. Другой – биржей в Нью-Йорке» [20, с. 225].

У Герцена есть и собственный ответ на вопрос, почему так произошло: «Без веры и без особых обстоятельств трудно было создать что-нибудь живое; все новые церкви дышали натяжкой, лицемерием, анахронизмом, как пятиглавые *судки* с луковками, вместо пробок, на индо-византийский манер, которые строил Николай с Тоном, или как угловатые, готические, оскорбляющие артистический глаз церкви, которыми англичане украшают свои города» [20, с. 225].

Как торжество естественного над неестественным приветствует Герцен титанов Ренессанса Микеланджело и Рафаэля, которые «поняли все это кистью» [20, с. 310] и взорвали церковную традицию. В рассуждениях о «Страшном суде» Сикстинской капеллы, в заметках о «Сикстинской Мадонне», о мадонне Ван Дейка в римской галерее Корсини проводится мысль, почему и отчего русское сердце отринуло деву-родительницу, но благодарно приняло Богородицу как носительницу святого звания матери, как женщину, рожденную так же, как и мы, грешные и смертные. Она близка, она заступает за людей, сочувствует им, воплощает примирение духа и плоти. Герцен вспоминает, как однажды в часовне, где клали земные поклоны и молились, стоя на коленях, чудотворной иконе Богоматери женщины с детьми, больные старики, поверженные в прахе несчастные и горемычные, ему вдруг открылся сакральный духовный смысл русской иконы и он признается: «Да, это не просто доска с изображением... Века целые поглощала она эти потоки страстных возношений, молитв людей скорбящих, несчастных; она должна была наполниться силой, струящейся из нее, отражающейся от нее на верующих. Она сделалась живым органом, местом встречи между творцом и людьми. Думая об этом, я еще раз посмотрел... на святую икону, – тогда я сам увидел черты Богородицы одушевленными, она с милосердием и любовью смотрела на этих простых людей... И я пал на колени и смиренно молился ей» [20, с. 454].

¹ Этим термином наряду с Возрождением названа целая эпоха культурного развития Европы с середины XIV до конца XVI в., которой было свойственно восстановление греко-латинской культуры и науки на европейской основе. – В.С.

Казенная практика XIX в., описанная Герценом, идеально ложится в современность. Правда, сегодня массмедиа, располагая другими средствами воздействия на людей, больше не нуждаются в услугах типографского станка, но суть от этого не слишком изменилась: «Взявши все монополии, правительство взяло и монополию болтовни, оно велело всем молчать и стало говорить без умолку» [20, с. 245].

Какие-то вещи, зафиксированные Герценом, не имеют срока давности и, похоже, могут быть вечно актуальными. И правда заключается в том, что полнейшее отсутствие справедливости, наглость, бесстыдное беззаконие не имеют в России пределов концентрации и наивысшей степени, ибо эксклюзивны в своей беспрецедентности, безмерности, неслыханности и могут удивлять вновь и вновь. Впрочем, нынешнюю отморозенность чиновничьего сословия и тотальное бесправие простых смертных он, думается, принял бы как реализованную, но ожидаемую норму, успешно насаждаемую стройность одинаковости, торжество однообразия, обязательной формы, внешнего порядка – таких же неизбежных примет деспотизма, что и казарменность и мундирность. «В Европе, – отмечает Герцен, – люди одеваются, а мы рядимся...» [20, с. 355].

Инерционная деградация аппарата насилия, с точки зрения Герцена, де-факто – синоним уродливой мутации, а де-юре – неопровержимый показатель того, что оформилась и продолжает развиваться система принуждения, исполнители которой отнюдь не осознают себя паразитическим наростом на теле народа, поскольку по определению являются и не могут не являться адептами и носителями приумножающейся бюрократической подлости, по их искаженной шкале ценностей лежащей не в деструктивном, а креативном этическом поле. Перманентность этого герценовского диагноза-приговора конкурирует с инвариантностью.

Задумываясь, когда и как власти зажали русского человека в мертвящие тиски, делающие все насильем, все палкой и никаким другим жизненным толчком, Герцен приходит к выводу, что такое положение дел – один из печальных результатов петровского переворота, давшего полный ход развитию чиновничьего сословия – класса искусственного, необразованного, голодного, не умеющего ничего делать, кроме «служения», ничего не знающего, кроме канцелярских форм. В Московской Руси приказных называли крапивным семенем. Петр же учредил нечто вроде гражданского духовенства, священнодействующего в судах и полициях и сосущего кровь народа тысячами ртов, жадных и нечистых. В системе приказно-казарменного самовластья – уродливой государственной машине, тупо меряющей все на свете рекрутской меркой и канцелярской линейкой, – архетипически прослеживается прообраз будущей административно-командной системы.

Герцен вполне подошел к пониманию того, что в России многое построено на абсурде. При этом он не пытался постичь, что же это такое и в чем заключается, а разумно ограничивался самой фиксацией явления как данности. Русский абсурдизм для него закономерен, естествен, исторически отрефлектирован, приложен к действительности как бы онтологически, по определению. Он один из формирующих русское национальное пространство типологических феноменов и характерных кодов, прин-

ципов мировосприятия русского человека не одной эпохи. Герцен – противник агностицизма и тем не менее трезво оценивает границы познания. По какому праву, вопрошает он, мы требуем справедливости, отчета, причин? У кого? У крутящегося урагана жизни? В то же время он учитывает и другой фактор: жесткую ограниченность интеллектуального ресурса вмешательством наделенной абсолютной властью самодержца: монаршая воля вдребезги разбивает все здравые рассуждения и логические построения, и канцелярские формы вместо законов и фельдфебельские понятия вместо правительственного ума искореняют и вытравливают свежие гражданские инициативы. Находятся усердные, ретивые, рачительные исполнители, ревностные служаки вроде А.А. Аракчеева, готовые с гипертрофированной, доходящей до лютой активности свирепо перекрыть кислород, чтобы в зародыше задушить смелое отступление от правил и искорку, крупицу вольномыслия. «Такие люди – клад для царей» [20, с. 382]. С особой иронией Герцен констатирует, что погрязшее в клептократии чиновничество – меньшее из зол. «В русской службе всего страшнее бескорыстные люди; взятки у нас наивно не берут только немцы, а если русский если не берет деньгами, то берет чем-нибудь другим и уж такой злодей, что не приведи Бог» [20, с. 525].

«Колокол» доносил до современников Герцена слово правды сквозь тяжкий мрак эпохи, «когда все было прибито к земле, одна официальная низость громко говорила, литература была приостановлена и, вместо науки, преподавали теорию рабства» [20, с. 417]. Невзирая на николаевскую опричнину, Герцен оставался стойким миссионером человечности и благовестил истину.

С добродушным сарказмом, подтрунивая над собой, Герцен вспоминает, как поддался моде и стал употреблять в устной и письменной речи мудреные иностранные слова и искусственные конструкции и обороты: «...увлеченный тогдашним потоком, я сам писал точно так же, да еще удивлялся, что известный астроном Перовицкий называл это “птичьим языком”. Никто в те времена не отрекся бы от подобной фразы: “Конкретизирование абстрактных идей в сфере пластики представляет ту фазу самоощущения духа, в которой он, определяясь для себя, потенцируется из естественной имманентности в гармоническую сферу образного сознания в красоте”. Замечательно, что тут русские слова... звучат иностраннее латинских» [20, с. 328]. Интересно, как бы отозвался Герцен о нынешних ученых мужах, которые в простоте словечка не скажут и изъясняются исключительно заковыристыми терминами и набором невнятных, маловразумительных предложений, нарочито усложняющих неподъемный текст и затемняющих и без того скудный его смысл? Подобное «научообразие», к сожалению, распространяется сейчас со скоростью лесного пожара и, как правило, камуфлирует пустоту, дефицит новизны и отсутствие инновационной составляющей. Иными словами, очевидное и банальное преподносится как откровение или озарение, хотя на самом деле может быть даже простой галиматией, пусть и со ссылкой на «контент-анализ» и иные методы исследования со звучными названиями.

Герцен подчеркнуто сторонился прибегать к тяжеловесному схоластическому наречию и стремится говорить, по собственному его выраже-

нию, как можно человечественнее, настаивая на том, что заимствование из латыни и немецкого ученого диалекта непроситительно, ибо в корне инородно и чуждо нашему родному языку, на котором одинаково легко выражаются отвлеченные мысли, внутренние лирические чувствования, «жизни мышья беготня» [20, с. 328], крик негодования, искрящаяся шалость и потрясающая страсть. В результате стараниями нерадивых интерпретаторов все в самом деле непосредственное, всякое простое чувство искажалось и оставалось «без капли живой крови, бледной алгебраической тенью» [20, с. 328], и ни наивность, ни даже искренность не искупали этого безотчетного стремления к мертвящей мутной зауми.

Не менее нетерпим был Герцен к тому, что тот же шаблон переносился на строй мыслей, философию, литературу, искусство. Как карикатурно это выглядело, раскрыто им в следующей остроумной зарисовке: «Человек, который шел гулять в Сокольники, шел для того, чтобы отдаваться пантеистическому чувству своего единства с космосом; и если ему попадался по дороге какой-нибудь солдат под хмельком или баба, вступавшая в разговор, философ не просто говорил с ними, но определял субстанцию народную в ее непосредственном и случайном явлении. Самая слеза, навертывающаяся на веках, была строго отнесена к своему порядку: к “гемюту”¹ или к “трагическому в сердце”... То же в искусстве. Знание Гете, особенно второй части “Фауста” (оттого ли, что она хуже первой, или оттого, что труднее ее), было столько же обязательно, как иметь платье. Философия музыки была на первом плане. Разумеется, об России и не говорили, к Моцарту были снисходительны, хотя и находили его детским и бедным, зато производили философские следствия над каждым аккордом Бетховена и очень уважали Шуберта, не столько, думаю, за его превосходные напевы, сколько за то, что он брал философские темы для них, как “Всемогущество Божие”, “Атлас”. Наравне с итальянской музыкой делила опалу французская литература и вообще все французское, а по дороге и все политическое... Пока прения шли о том, что Гете объективен, но что его объективность субъективна, тогда как Шиллер – поэт субъективный, но его субъективность объективна, и *vice versa*, все шло мирно» [20, с. 328–329].

Как бы юный Герцен ни был увлечен политическими мечтами, науками, своей *alma mater*, университетским товариществом, достигшим «химического» сродства, он сохранял неизменно автономию личности, позволявшую ему в нужный момент абстрагироваться, уединяться и отгораживаться, дабы привольно нырнуть в ту глубь души, где никакая сила не могла бы посягнуть на независимость, самобытность, возможность и право жить своей жизнью. Поэтому, оказавшись в чуждой среде, неприязненной, пошлой, гнетущей и безвыходной, он был способен выстоять, выдержать, что могут очень немногие. Природу земного ада, в котором насаждаемый страх был сопряжен с обманом, «где все было ограничено, поддельно, условно и жало душу своей узостью» [20, с. 261], Герцен анатомирует так, будто производит социальную аутопсию.

¹ Душевному состоянию (нем. *Gemut*). – В.С.

Притом, что Герцен всегда был бесстрашным пловцом по кипяще-булящим водам современности, он всякий раз от нее как бы отстранялся, дистанцировался, называя себя «иностранцем своего времени», на что уже справедливо указывалось в новейшей научной литературе [15, с. 143–144]. Однако он не страшился устремляться прямо на «те гранитные камни преткновения на дороге знания, которые во все времена были одни и те же, пугали людей и манили к себе» [20, с. 488].

Формула оптимизма Герцена – активное жизнелюбие: «Жизнь только тогда бойко и хорошо идет, когда не чувствуешь, как кровь по жилам течет, и не думаешь, как легкие поднимаются. Если каждый толчок отдается, того и смотри, – явится боль, диссонанс, с которым не всегда согласишься» [20, с. 493].

Необъятная сила главного произведения Герцена заключена и проступает уже в самом ее названии. Автор не мнит себя оракулом, но его дар *пророчества былым* совершенно неоспорим, что подтверждено глубокой правотой этой уникальной автобиографической хроники, пошедшей долгую проверку временем и апробацию в течение вот уже почти 160 лет.

Необычайно злободневен замер нравственного уровня общества в проживаемое Герценом время, со всей очевидностью соотносимый с текущим моментом. Констатируя деградацию той части российского социума, которую традиционно причисляют к элите, но которая на самом деле лишилась этого статуса, утратив всякую тень самобытного достоинства и оказавшись способной лишь выслуживаться перед властью, он пишет: «Нравственный уровень общества пал, развитие было перервано, все передовое, энергическое вычеркнуто из жизни. Остальные – испуганные, слабые, потерянные – были мелки, пусты; дрянь... заняла первое место» [20, с. 344], превратившись в подобострастных дельцов. Хотя цензурный контроль политического пространства в николаевское время все-таки оставлял маленькие лакуны для свободной мысли, ибо закупо-ренность книжного мира не была такой тотальной, как нынешняя открытость виртуального космоса, профанирующая все здоровое, рационально критичное, креативное и устраниющая умственную независимость.

Герцен, как и А.С. Пушкин, не отрицал право России на выражение «того инстинкта силы, который чувствуют все могучие народы, когда чужие их задевают» [20, с. 430], и он во многом присоединялся к мрачному протесту П.Я. Чаадаева, с его выстраданным, как крик боли, проклятием русской жизни, равно как не желал мириться с тем, что люди, спасаясь от невыносимой действительности, уходят в прошлое, ищут забвение в мистицизме, занимаются магнетизмом, погружаются в религиозные и псевдо-религиозные учения, подразумевающие веру в потусторонние силы или сверхъестественные энергии. Подобный эскапизм сегодня более чем актуален, и число желающих найти временное укрытие в эзотерике и таинствах отнюдь не убывает.

Что касается опубликованного в 1836 г. в журнале «Телескоп и вызвавшего скандал первого философического письма Чаадаева, то Герцен

не был бы Герценом, если бы диалектически не разглядел в нем, наряду с обвинениями, личного покаяния автора и не поддержал его.

«Диалектически» относился Герцен и к самой диалектике. Профанация гегелевской диалектики состоит, по его мнению, в ограниченном и даже косном ее толковании: «Диалектическая метода, если она не есть развитие самой сущности, воспитание ее, так сказать, в мысль, становится чисто внешним средством гонять сквозь строй категорий всякую всячину, упражнением в логической гимнастике» [20, с. 330]. Критика догматизации диалектики позволила Герцену избежать насильственного «примирения с действительностью», обусловленного парадоксальным тезисом Гегеля «Все действительное разумно, а все разумное действительно». Он не смог разучиться замечать темные стороны жизни и понял, что в России правит бал «диалектика самовластья» [20, с. 216]. Также Герцен рано постиг, почему у достойнейших людей старшего поколения, к которым он испытывал пиетет, доминировала «подозрительная робость к будущему, то недоверие к жизни, которое всегда остается после больших, долгих и многочисленных бедствий» [20, с. 141].

В жизненной практике Герцен никогда не праздновал труса и в трудную минуту жизни (а таких у него хватало с избытком) держался с редким самообладанием и твердостью духа. Однако живая мысль зачастую намного обгоняла реальные дела и дерзкие шаги, им предпринятые.

Мыслестроительство Герцена сложно, не статично, далеко не всегда последовательно и зачастую соткано из противоречий. Его диалектика проявляется в постоянном отрицании того, что еще недавно обосновывалось и, казалось бы, должно было оставаться эталонным и незыблемым. При этом резкость иных умозаключений сглажена и сбалансирована амортизирующей пластичностью. Архитектура философии Герцена не столько эклектична, сколько динамично эволюционна, что метафорически сравнимо с тем, как если бы вслед за готическими вертикалями с безупречными аркбутанами и контрфорсами или барочными проектами вдруг, опережая время, проступили бы абсолютно иные конструкции, которые условно можно назвать авангардными. Его «Былое и думы» так же дерзновенны, как и проект А.Л. Витберга, но в отличие от храма-памятника Отечественной войне 1812 г. они были созданы.

В своих раздумьях о бытии Герцен не обходит острые углы, а, напротив, ударившись о какие-то из них, бесстрашно продолжает движение, не огибая следующие. Порой изящное стилистическое оформление скрадывает степень накала его противоборствующих друг другу идей, а констатация интеллектуальных истин не базируется на какой-то одной парадигме; тяготея к метафизике, он в то же время выступает ее смелым ниспровергателем. Цельный и связный дискурс в философии Герцена незачем искать хотя бы потому, что главная драма мыслителя заключалась в том, что он честно и мужественно взялся за изначально неразрешимую даже сегодня задачу упорядочить то, что по определению не поддается ни систематизации, ни структурированию. Однако интуитивно Герцен подошел к тому, что на обширном материале российского прошлого и настоящего и с проекцией в будущее прозрел бесконечную инвариантность самой бесструктурности, или ризомности, мироустройства,

которое независимо от человеческой воли может распадаться на свободные агрегации, образовывать случайные цепочки и плохо укладывается в связное осмысление.

Пожалуй, Герцен одним из первых в России мыслил одновременно очень по-европейски и вместе с тем очень по-русски, не впадая при этом благодаря гибкости своей мысли ни в патриотическую риторику, ни в абсолют ригоризма, гася попутно возникающие парадоксы уместными сомнениями и оригинальными интерпретациями и органично совмещая далеко отстоящие и противоположно заряженные векторы личности, где непостижимо находят примирение радикализм и гуманизм и где человеколюбие измеряется не тем, сколько раз употреблено слово «гуманизм», а однозначным отстаиванием как в жизни, так и творчестве человеческого отношения к человеку.

У Герцена не было претензий на обладание истиной, но он смело и честно ставил *живые русские вопросы*, которые резко затрагивают и будят человека, толкают его вперед и ответы на которые мы тщетно ищем, но так и не находим посейчас. Срабатывает, наверное, эффект вечного возвращения, когда вчерашнее не отживает, а возобновляется и вырастает в современность, что подтверждает, к примеру, следующая герценовская зарисовка: «...тяжелые оргии, бесцветное богатство, в котором золото... вытесняет искусство, лоретка – даму, биржевой игрок – литератора» [20, с. 448]. Не правда ли, почти один к одному это социальный слепок с новейшего российского общества? Тут возникают ассоциации с пресловутой «голой вечеринкой» в декабре 2023 г. и другими непотребствами и «шикарными» картинками, в которых задействована нынешняя лжеэлита.

Герцен-философ в значительной мере состоялся вследствие основательной математической подготовки. Навык опираться на математические методы как инструмент познания не давал ему уলেখся количественными описаниями, удерживал от механического воспроизведения апробированной картины мира. Безличность математики, внечеловеческая объективность природы – верные союзники русского мыслителя, и с их помощью он стремится освободиться от воздействия на те или иные стороны духа всего того, что эмоционально влияет на людей, делая их пристрастными. Это касается как общежизненных, так и художественных и нравственных вопросов, «где человек не только наблюдатель иследователь, а вместе с тем и участник» [20, с. 343]. Герцен различает и обозначает «физиологический предел, который очень трудно перейти с прежней кровью и прежним мозгом, не исключив из них следы колыбельных песен, родных полей и гор, обычаев и всего окружавшего строя» [20, с. 343]. Тем самым он подводит к пониманию того, какую важную роль в культуре играет, выражаясь современным научным языком, когнитивный пласт – совокупность всего того, без чего немислим духовный референт нации. «Поэт и художник, – пишет Герцен, – в истинных своих произведениях всегда народен. Что бы он ни делал, какую бы он ни имел цель и мысль в своем творчестве, он выражает, волею или неволею, какие-нибудь стихии народного характера, и выражает их глубже и яснее, чем сама история народа. Даже отрешаясь от всего народного, художник не утрачивает главных черт, по которым можно узнать, *чьих он*. Гете –

немец и в греческой “Ифигении”, и в восточном “Диване”. Поэты в самом деле, по римскому выражению, – “пророки”; только они высказывают не то, чего нет и что будет случайно, а то, *что неизвестно, что есть* в тусклом сознании масс, что еще дремлет в нем» [20, с. 343].

Герцену одинаково чужды снобизм и психическая сытость собою. Эмоциональный фон его мыслей складывается из равнодушия ко всему, из удивительного такта сердца, пламенного увлечения красотой, в котором сочетаются уважение к ней как к таланту и силе. Его умственному складу эстетический элемент был присущ в той же мере, в какой он вносил философию в свою эстетику. Как бы глубоко ни занимали и ни волновали его человеческие дела, он не утрачивал при их осмыслении бесстрастную нелицеприятность логики, почерпнутую из естественной объективности природы, что позволяло отрешаться от всего, препятствующего ясности мысли, а также от себя самого для наблюдения. В результате в своих рассуждениях он исходил из того, что науки, включая историю и философию, – это та же мысль, та же природа, но выраженные иначе.

Истоки философско-этических взглядов Герцена, безусловно, ведут в Античность, а их влияние можно обнаружить у целой плеяды русских и европейских мыслителей, для которых личность – «огненный центр философского, как и практического, мировоззрения» [17, с. 24]. В этом ряду интеллектуалов – С.Н. Булгаков, В.В. Зеньковский, В.В. Розанов, Н.А. Бердяев, Г.В. Флоровский, П.Б. Струве, Ф. Ницше, Э. Гуссерль, М.М. Бахтин, А.Ф. Лосев, С.С. Аверинцев и др.

Однако Герцен отталкивался не только от философской классики, но и стихии народной жизни, от того, что сам называл сознанием живой души народа. Первооснову его убеждений составлял постулат, что «нет народа, который глубже и полнее усваивал бы себе мысль других народов, оставаясь самим собою» [20, с. 442–443]. Собственно говоря, на этом и строился сколь оптимистический, столь и утопический прогноз, допускающий, что грядущим поколениям когда-нибудь выпадет возможность разумного и свободного развития русского народного быта.

В «Былом и думах» так или иначе соединились панорамы отечественной и европейской жизни середины XIX в., сошлись основные философские и социальные идеи, изложенные Герценом в работах «Дилетантизм в науке» (1842–1843), «Письма об изучении природы» (1845–1846), «О развитии революционных идей в России» (1851), «С того берега» (1855), «Русские немцы и немецкие русские» (1859), «Концы и начала» (1862), «Письма к противнику» (1864), «Письма старому товарищу» (1869) и др. Из публицистических очерков и журналистских текстов, предназначенных для вольной русской прессы, выходившей за границы, – «Полярной звезды» и «Колокола», он заимствовал для главной своей книги речевые находки и оригинальные языковые рисунки, широко включая каламбуры, игру слов, оперируя приемами и комбинациями, которые придавали изложению большую выразительность, выделяли нужные нюансы, подчеркивали смешные стороны описываемых событий. Палитра стилистической типизации отличается у Герцена богатством красок, оттенков, эскизной точностью словесных портретов, а в коннотативно-оценочном плане поражает разнообразием интонационных ва-

риаций – от пародийно-комических, шаржевых до иронических и саркастических. Поистине, «Былое и думы» уникально вмещает в себя всю Россию и интегрирует совокупные достижения общественной мысли, философии, литературы, гуманитарных и естественных наук, мемуаристики, эпистолярного мастерства и много чего другого. Жанровые особенности творчества Герцена представляют собой синтез нарративов, где роман встречается с повестью, исследовательская статья с путевым очерком, аналитический репортаж с записками натуралиста, критический разбор дотошного рецензента с изящным эссе наблюдательного зрителя или эстетически безупречным этюдом, политическая листовка или декларация с тонкой психологической миниатюрой. С жанра на жанр Герцен переходит с той же свободой и легкостью, что и с русского на французский, немецкий, английский, итальянский или латынь.

Дискурсивность герценовского языкового наследия – это, безусловно, не просто интереснейший и яркий памятник русской словесности, но и личностно окрашенный индивидуальный способ мышления, говорения, почерк жизни, т.е. бесценный культурологический источник эпохи.

Литература

Исследования

1. А.И. Герцен в русской критике: Сб. ст. / Вступит. ст. и примеч. В. Путинцева. М.: Гослитиздат, 1953.
2. Антокольская Н.А. Свобода в жизни и творчестве А.И. Герцена // Вече: Журнал русской философии и культуры. 2012. Вып. 24. С. 71–77.
3. Берлин И. А.И. Герцен // Новое литературное обозрение. 2001. № 49. С. 99–118.
4. Володин А.И. Неудобный мыслитель: Из записок герценоведа // Свободная мысль. 1993. № 7. С. 90–98.
5. Володин А.И. Об историософии Герцена // Вопросы философии. 1996. № 9. С. 82–89.
6. Исупов К.Г. «Историческая эстетика» А.И. Герцена // Русская литература. 1995. № 2. С. 32–46.
7. Кантор В.К. Трагедия Герцена, или Искушение радикализмом // Вопросы философии. 2010. № 12. С. 76–85.
8. Корольков А.А. Антропоцентризм философии А.И. Герцена // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2013. Вып. 156. С. 14–19.
9. Малия М. Александр Герцен и рождение русского социализма. 1812–1855. М.: Территория будущего, 2010.
10. Маслин М.А. А.И. Герцен и русская философия // Философия и общество. 2012. Вып. № 2 (66). С. 159–177.
11. Никоненко В.С. Горькая истина. Философско-исторический пессимизм А.И. Герцена // Вестник РХГА. 2012. № 3. С. 114–121.
12. Павлов А. «Поэт гуманности». О творческом гуманизме Александра Герцена // Здравый смысл: Журнал скептиков, оптимистов и гуманистов. 2005. № 3 (36). URL: <http://razumru.ru/humanism/journal/36/pavlov.htm>.
13. Пирумова Н.М. Александр Герцен. М.: Мысль, 1989.

14. Рыбас А.Е. К философии истории А.И. Герцена // Фигуры истории, или «общие места» историографии. Вторые Санкт-Петербургские чтения по теории, методологии и философии истории / Отв. ред. А.В. Малинов. СПб: Северная Звезда, 2005. С. 143–154.
15. Рыбас А.Е. Проблема жизни в философии А.И. Герцена // Вече: Журнал русской философии и культуры. 2012. Вып. 24. С. 40–55.
16. Хестанов Р.З. Александр Герцен: импровизация против доктрины. М.: Дом интеллектуальной книги, 2001.
17. Чуковская Л.К. «Былое и думы» Герцена. М.: Худож. лит., 1966.
18. Шпет Г.Г. Философское мировоззрение Герцена. Пг.: Колос, 1921.
19. Эйдельман Н.Я. Герцен против самодержавия. Секретная политическая история России XVIII–XIX веков и вольная печать. М.: Мысль, 1984.

Источники

20. Герцен А.И. Былое и думы. В 2 т. Т. 1. М.; Л.: Госиздат, 1931.

Solovyov, Vladimir M. *Prophecy through the past: A.I. Herzen's Renaissance universalism*

References

1. Putintsev, V. (ed.) (1953), *A.I. Gertsen v russkoy kritike: Sbornik statey* [A.I. Herzen in Russian Criticism: Collection of articles], Goslitizdat, Moscow (in Russian).
2. Antokolskaya, N.A. (2012), Freedom in the life and work of A.I. Herzen, *Veche: Zhurnal russkoy filosofii i kultury*, no. 24, pp. 71–77 (in Russian).
3. Berlin, I. (2001), A.I. Herzen, *Novoe literaturnoe obozrenie*, no. 49, pp. 99–118 (in Russian).
4. Volodin, A.I. (1993), An inconvenient thinker: From the notes of a Herzenologist, *Svobodnaya mysl*, no. 7, pp. 90–98 (in Russian).
5. Volodin, A.I. (1996), On Herzen's historiosophy, *Voprosy filosofii*, no. 9, pp. 82–89 (in Russian).
6. Isupov, K.G. (1995), "Historical aesthetics" by A.I. Herzen, *Russkaya literatura*, no. 2, pp. 32–46 (in Russian).
7. Kantor, V.K. (2010), Herzen's tragedy, or The temptation of radicalism, *Voprosy filosofii*, no. 12, pp. 76–85 (in Russian).
8. Korolkov, A.A. (2013), Anthropocentrism of A.I. Herzen's philosophy, *Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gertsena*, no. 156, pp. 14–19 (in Russian).
9. Malia, M. (2010), *Aleksandr Gertsen i rozhdenie russkogo sotsializma. 1812–1855* [Aleksandr Herzen and the Birth of Russian Socialism. 1812–1855], Territoriya budushchego, Moscow (in Russian).
10. Maslin, M.A. (2012), A.I. Herzen and Russian philosophy, *Filosofiya i obshchestvo*, no. 2 (66), pp. 159–177 (in Russian).
11. Nikonenko, V.S. (2012), Bitter truth. Philosophical and historical pessimism of A.I. Herzen, *Vestnik RChHA*, no. 3, pp. 114–121 (in Russian).
12. Pavlov, A. (2005), "Poet of humanity". On the creative humanism of Aleksandr Herzen, *Zdravyi smysl: Zhurnal skeptikov, optimistov i gumanistov*, no. 3 (36), URL: <http://razumru.ru/humanism/journal/36/pavlov.htm> (in Russian).

13. Pirumova, N.M. (1989), *Aleksandr Gertsen* [Aleksandr Herzen], Mysl, Moscow (in Russian).
14. Rybas, A.E. (2005), To the philosophy of history of A.I. Herzen, in: Malinov, A.V. (ed.), *Figury istorii, ili "obshchie mesta" istoriografii. Vtorye sankt-peterburgskie chteniya po teorii, metodologii i filosofii istorii* [Figures of History, or "Common Places" of Historiography. The Second St. Petersburg Readings on the Theory, Methodology, and Philosophy of History], Severnaya Zvezda, St. Petersburg, pp. 143–154 (in Russian).
15. Rybas, A.E. (2012), The problem of life in the philosophy of A.I. Herzen, *Veche: Zhurnal russkoy filosofii i kultury*, no. 24, pp. 40–55 (in Russian).
16. Khestanov, R.Z. (2001), *Aleksandr Gertsen: improvizatsiya protiv doktriny* [Aleksandr Herzen: Improvisation Against Doctrine], Dom intellektualnoy knigi, Moscow (in Russian).
17. Chukovskaya, L.K. (1966), *"Byloe i dumy" Gertsena* [Herzen's "My Past and Thoughts"], Hudozhestvennaya literatura, Moscow (in Russian).
18. Shpet, G.G. (1921), *Filosofskoe mirovozzrenie Gertsena* [Herzen's Philosophical Worldview], Kolos, Petrograd (in Russian).
19. Eydelman, N.Ya. (1984), *Gertsen protiv samoderzhaviya. Sekretnaya politicheskaya istoriya Rossii XVIII–XIX vekov i volnaya pechat* [Herzen Against Autocracy. Secret Political History of Russia of the 18–19 Centuries and the Free Press], Mysl, Moscow (in Russian).